

Соня РЫБКИНА

МАЛЬЧИК СО СКРИПКОЙ

Маленькая повесть

Звездные тени

Мама мечтала, чтобы я играл на скрипке. Она сама окончила три класса музыкальной школы, потом бросила. Не знаю, жалела она об этом или нет, но всегда говорила, что ее призвание — живопись, а музыка лечит душу (когда слушаешь других). Мне было пять, и я не совсем понимал, что такое душа и зачем ее лечить. На скрипке играл мамин младший брат, мой дядя-ангел (так я называл его в детстве): остроносый, высокий, немного нескладный человек. Он всегда был спокоен, мало говорил и смеялся, погруженный в себя, созерцающий, смотрящий как бы сквозь, в ему одному ведомые дали. Он редко читал мне вслух, бывая у нас в гостях, чаще рассказывал собственные истории про подвижников, монахов, живописцев, одиноких менестрелей и странных ученых. У нас сложился свой особый мирок, отдельный ото всех, в который допускалась только тетя, его жена.

Мое первое воспоминание о них: мне почти четыре, они взяли меня на прогулку; я сижу на скамейке, притулившись к тете, она теплая и мягкая, у нее нежные руки, она гладит меня по волосам и улыбается, а дядя что-то рассказывает, и взгляд у него отстраненный, спокойный, полный внутреннего света. Он и играл всегда так же, не для других, для себя, внутрь себя, как будто изучая собственную душу и Того, кто ее создал.

Они были моими первыми учителями — не только в музыке, но и в жизни. Они учили меня душевной нежности, трепету перед красотой этого мира, перед искусством и природой, из которой оно возникло. Они дали мне первую молитву, первый опыт созерцания и соприкосновения с Божественным, общения с Богом и первую детскую религиозность. Мама была другая, далекая от открытых проявлений любви, нежных излияний, столкновения с мистическим. Но не вмешивалась. Она говорила, что я похож на дядю, и с этим, видимо, ничего не поделаешь, если я больше тянусь к нему, чем к ней или кому-то другому в нашей семье. Тогда я не понимал, что страдаю, не имея с ней особой связи, точнее, не чувствуя ее, потому что мама была словно мне недоступна; мне не хватало тепла и ласки, и я страшно радовался тете, которая обожала целовать меня в обе щеки, гладить по голове, обнимать и говорить всякие милые глупости; после этого умильного ритуала дядя иногда сажал меня к себе на колени — и в обнимку, заглядывая мне в лицо, начинал сочинять на ходу очередную сказку про менестреля или художника. Но чаще у него было созерцательное настроение, и тогда я просто сидел рядом, а он говорил больше для себя, чем для меня. Они присвоили

Соня Рыбкина публиковалась в журналах «Урал», «Подъем», «Дальний Восток», «Кольцо „А“», «Эдита», «Нижний Новгород», «Формаслов», «Слово», «Камертон», «Что есть Истина?», «Южная звезда», «Дегуста» и других, в литературных альманахах. Составитель и автор поэтической антологии «Век двадцать первый» под редакцией В. Е. Лебединского (М., 2022). Автор сказки «Кровь и серебро» (издательство Анимедия, 2021). По специальности скрипачка.

меня раньше, чем это случилось на самом деле. Уже заканчивая школу, я узнал, что они жили в ангельском браке, но думали взять кого-то на воспитание; так было суждено, что этим кем-то оказался я.

Отца я толком не помню. Помню, что он ушел от нас, когда мне было три; мама после этого заболела. У меня была мамина фамилия, Сретенский (общая с дядей). Я понял потом, что это из-за болезни она старалась сильно не приближать меня, не привязываться так, что было не разорвать, по этой же причине мое сближение с дядей и тетей всеми способами поощрялось. В пять лет я бывал у них почти каждые выходные (утром — занятие на скрипке, днем — кино, вечером — прогулка, а потом ужин; дядя баловал меня то блинами, то сырниками, то каким-то особенно вкусным пирогом по собственному рецепту). Сейчас, рассматривая фотографии где-то пятнадцатилетней давности, когда я пошел в первый класс специальной музыкальной школы, я почти не нахожу признаков (или призраков?) случившегося: тонколицый скрипач с улыбкой на губах, полной светлой печали, за фортепиано — его жена, стройная, правильная, без тени улыбки, но с мягким выражением красивых темных глаз, и мальчик со скрипкой, с кудряшками вдоль лица и слишком взрослым для ребенка взглядом. Будто персонажи новеллы какого-то старинного немецкого писателя.

Дядя был человеком невероятного терпения. Когда он делал мне постановку, поправляя пальцы на смычке или на грифе, а я пытался сбросить его руки; когда он разучивал со мной первые песенки, а я постоянно вредничал, ставя нарочно пальцы на соседние ноты и сделав невинный вид (тетя смеялась, подыгрывая аккорды на пианино)... Ему было всего двадцать восемь лет, и во время занятий со мной он напоминал скорее обреченного на педагогическую практику третьекурсника, не старше, нежели всамделишного педагога.

Тогда, будучи пятилетним ребенком, которого дядя «мучает музыкой» по субботам (как говорили мамины друзья), я уже улавливал на наших уроках какое-то особое настроение в воздухе, особый ясный звук, будто взятый на тонкой струне, повисший где-то под потолком, не сумевший до конца раствориться; особый тон, которым наполнялась небольшая светлая комната, где я спал и занимался, там же стояло пианино (и где я стал жить совсем скоро и живу до сих пор, потому что мне и сейчас, на пятом курсе консерватории, не нужно другого дома, кроме как с этими людьми)...

Особое настроение, затрагивающее сердце, которое я не умел распознать и назвать ребенком, окутывало нас в эти минуты, и внутри подспудно возникало драгоценное чувство, которое тогда я тоже не мог осознать, что никто и никогда не будет любить меня так, как эти два чистых и красивых душой человека.

Мамы не стало, когда мне было шесть. Я не запомнил ничего, кроме кошмаров, которые мне снились (из-за этого то дядя, то тетя попеременно спали в моей комнате): черви, выползающие из утробы моего инструмента (скрипки), объятия мамы, от которых меня колотило, потому что во сне я осознавал, что это не она, а какой-то страшный двойник... Позже я словно не мог простить ей холодности и отчуждения, отсутствия ласки, нежелания выстроить близкую дружбу, которая вообще редко случается между родителями и детьми, а потому сам отдалился от воспоминаний о ней. Это был, как принято говорить, защитный механизм. Я выстроил стену между ней и собой, и по ту сторону она представляла сказочной героиней, которая без спроса привела меня сюда — и так же без спроса меня покинула. В шесть лет я думал о смерти иначе, чем думают взрослые, хотя молился за упокой ее души так, как меня научили «новые родители» (скоро слово «новые» исчезло, а я стал играть в игру, где был просто одаренным ребенком с талантливыми мамой и папой, без ужаса смерти), но мне было легче представлять ее феей, которая по какой-то причине оставила меня в мире людей.

Дети в школе об этом не знали, поэтому я избегал сочувствующих взглядов и шепотков за спиной. Зато те, кто сам был из музыкальных семей, знали моих родителей; они обступили меня, и я помню, как неловко мне было, будто я самозванец, выдающий себя за того, кем не являюсь на самом деле. Я растерянно смотрел на них, невольно радуясь, что я интересен, что меня приняли. Одна из моих одноклассниц сказала мечтательно: «У тебя такой красивый папа! Он похож на принца, который нарисован у меня в книжке». Я почти возразил ей, но тут же вдруг понял, что она говорит о моем дяде... И просто ей улыбнулся.

Вечером, лежа в своей комнате с включенным ночником и листая детскую Библию (я очень любил перечитывать ее и изучать картинки), я слушал голоса, доносящиеся с кухни. Ночник был устроен таким образом, что на потолке образовывались причудливые тени звезд и животных. На душе вдруг стало очень тепло и тоскливо одновременно. Когда родители зашли поцеловать меня на ночь, я накрылся одеялом почти с головой и притворился спящим, чтобы они не увидели мои заплаканные глаза.

Живая магия

Первого сентября на праздничном концерте родители играли «Поэму» Эрнеста Шоссона. Я с любопытством рассматривал присутствующих, среди которых мне предстояло пробыть ближайшие одиннадцать лет, но едва зазвучала скрипка, уставился на сцену и уже не мог отвести от нее взгляд. Прошлое, как известно, обычно предстает перед нами в очаровательной дымке, неуловимо искажающей события; по этой причине люди вновь сходятся с прежними любовями, прощают предательства, тоскуют по временам, не особенно того заслуживающим.

Музыканты знают, когда играешь, время течет по-другому. Ты не думаешь о том, сколько минут тебе осталось удерживать внимание публики, сколько еще продлится ее увлечение тобой и восторг непонимания («Как ему это удается?!»), случается, в неудачные дни минуты радости на сцене превращаются в часы позора... И все-таки музыкант мыслит иначе, от пассажа к пассажи, от особо виртуозного, для кого-то почти невыполнимого отрывка до передышки в виде кантилены на половину страницы. Я всегда думал так, даже будучи семилетним несмысленным, так же думал папа («Когда играешь это место, вспомни о том, что через три строчки можно будет отдохнуть...»).

Это мешает мне воспринимать классическую музыку как чистое искусство, отдельно от страха за исполнителя, что он сейчас сорвется на очередном пассаже; от надежды, что ему удастся доиграть удачно несколько оставшихся тактов двойных нот, а дальше — долгожданная кантилена. Иногда я завидую тем, для кого музыка — непостижимая тайна, кому не удалось проникнуть и познать ее суть... Прекрасно, не спорю, быть для большого количества людей магом и чародеем, чуть ли не властителем толпы в те минуты, которые дарованы тебе на сцене, и все же я склонен сожалеть, что, сидя в концертном зале, не могу почувствовать себя единым организмом с публикой, не могу слиться с теми, для кого исполнение — живая магия (а не перечень технических задач, которому учат в специальной музыкальной школе и от которых потом так трудно отделаться, чтобы стать Художником с большой буквы, а не только успешным ремесленником).

Помню, что тогда, в старом школьном зале, когда папа играл «Поэму», мне было трудно отделаться от ощущения, что в любую секунду на грифе может произойти нелепая случайность. Весь трагизм этой удивительной «Песни» (изначально ее название было «Песнь торжествующей любви», по Тургеневу), мотив колдовской скрипки, отголосок «Тристана» в самом начале, обреченной любви — все это, не совсем понятное моему детскому мозгу в силу объективных причин, но почти бессознательно

улавливаемое душой, сливалось со страхом обидной технической (надеюсь, невозможной) неудачи. Особенно пугали меня триольные терции в мамином проигрыше, зловещие и странные (у струнных в оркестровом исполнении они звучат совсем иначе, полетно и естественно, потому что и были задуманы для оркестра)...

Они были так красивы на сцене, и я ненадолго забыл, что это мои родители. Как я говорю теперь, у меня есть отец, который выбрал оставить и не знать меня более, Бог с ним; я не вправе судить его и никогда не знал, чем был обусловлен его выбор, но мне легче думать, что он потерял больше, чем я, — и есть папа (он один может называться так в моем сердце), который казался мне с детства бескрылым ангелом, который сумел вложить в меня самого себя, свою суть и душу, сумел показать дорогу к истинному свету, окружив меня особым теплом и любовью. И есть две мамы: мама-воспоминание, прекрасная, но холодная и далекая (я всегда любил и буду любить ее, но никогда не смогу познать, приблизиться внутренне хоть на шаг), и мама-свет, радость, ласка, которая расчесывала мне кудряшки перед школой, учила меня писать красивее всех в классе и играть на фортепиано.

И тогда, в зале, я смотрел на них: они казались почти бесплотными, один дух, разделенный надвое; уже ближе к концу пьесы меня наконец-то покинули тревога и страх, я сам как будто немного отделился от тела, приближаясь к познанию свободной и первозданной Музыки.

Наташа, та, которая сразу восхитилась папой, хлопала громче всех. У нее в глазах был какой-то детский смущенный восторг, который с годами вылился в настоящую влюбленность; мне казалось, она даже подружилась со мной для того, чтобы бывать у нас и чаще видеть объект своего обожания. Папа был несколько равнодушен к таким вещам, как человек, в некотором смысле находящийся между земным и небесным; его вообще мало интересовали другие, кроме меня и мамы, и, возможно, еще пары друзей-музыкантов, которые заходили к нам довольно редко. Он жил верой, искусством, своими причудливыми историями, которые все-таки начал записывать и частично публиковал; с мамой его изначально связала дружба, общее дело на двоих, желание обрести семью; позже эта дружба, уже почти на моих глазах, превратилась в огромную, сияющую, но очень тихую любовь, которая едва заметно присутствовала у него во взгляде, когда он смотрел на нее, в манере объятия, в голосе, в тоне, которым он произносил ее имя, Марина, и ласковое прозвище — «моя морская дева»...

Наташа казалась мне несколько чужеродной, противоположной моей стихии и стихии нашей семьи — громкая, восторженная, неумная натура. Наверное, слишком земная. В первом классе меня это мало волновало, я и не думал такими конструкциями; она была веселой, а мне нравилось, что меня замечают.

Мы сидели вместе и рисовали в прописях крючки и закорючки; я уже умел писать вполне сносно и находил прописи бессмысленными. Впрочем, в этом было и особенное удовольствие: оказаться лучшим в классе, справиться быстрее всех, рассказать наизусть таблицу умножения, пока в головах у других она еще не начала уместаться. На скрипке я продолжал заниматься с папой, а педагога, к которому меня распределили, до этого видел раз в жизни; занятия должны были начаться в середине сентября, и до этого времени я был почти счастлив...

Маленький мышонок

Первое занятие с педагогом, если память мне не изменяет, в конце концов состоялось чуть ли не в мой день рождения (тридцатого сентября). Оно не было плохим, как не было и хорошим; я был недоволен тем, что в моей жизни появился чужой взрослый, указывающий, как правильно играть. Заниматься с папой — другое дело, в пер-

вую очередь из-за особого отношения учителя к родному, скажем так, ученику; чужой человек в лучшем случае не станет выделять тебя из толпы, в худшем ты будешь плестись где-то сзади (это далеко не всегда определяется степенью таланта или его отсутствия). В учениках у твоего наставника может быть сын подруги, любимый внук троюродной тетушки, случайный ребенок, чьи родители не поскупились показать готовность основательно вкладываться в учебный процесс своего чада — и будь ты хоть трижды талантливее соучеников, это нисколько тебе не поможет, если так будет угодно педагогу. Везунчиков, оцениваемых по достоинству, немного.

Преподаватель, у которого оказался я, знал папу еще десятилетним печальным мальчиком с моими кудряшками вдоль лица (я видел фотографии). Не знаю, каковы были их взаимоотношения во время папиной учебы (насколько мне известно, они сталкивались лишь на зачетах и экзаменах), но ко мне он отнесся тепло и доброжелательно, в той особой манере, которая свойственна в обращении взрослым людям с теми детьми, которых они находят очень милыми и вполне способными. Ни его улыбка, ни снисходительный тон, опять же свойственный многим, кто принимает детей за неполноценных существ (которым только предстоит стать личностями в полной мере), мне тогда не понравились. Мне не нравилось, как он поправляет мне руки (я всегда щепетильно относился к чужим прикосновениям и терпеть не мог, когда малознакомые люди или даже родительские друзья стремились облобызывать меня со словами: «Какой хорошенький!»), меняет постановку на смычке (к моменту поступления я уже многое умел, и с моими навыками было крайне неудобно что-либо менять), ограничивает репертуар. Последнее удручало меня больше всего. Я привык, что дома после работы над этюдами или пьесами, которые папа подбирал для меня соответственно возрасту и необходимости, я мог пробовать те произведения, которые любил слушать (так уже в шесть лет я прочитал с листа первые страницы «Интродукции и Рондо каприччиозо» Сен-Санса). Педагог не желал ничего слушать, кроме ужасающе скучных упражнений, которые я прошел больше двух лет назад. На первом зачете (еще без оценки) я должен был играть пьеску, тоже слишком для меня простую. Папа «тайно» продолжал заниматься со мной так, как считал нужным сам, и со смешком говорил мне про уроки в школе, что это «нужно перетерпеть». Мне было не смешно.

На уроках слушания музыки нас заставляли делать в альбоме рисунки-ассоциации (фломастерами и цветными карандашами). Надо признаться, что до определенного возраста (лет до пятнадцати) рисовал я из рук вон плохо (а потом вдруг сам научился делать простым карандашом вполне удачные наброски). Педагог по образительному искусству совал мне под нос гуашь и заставлял изображать графины и амфоры, дороги, уходящие вдаль (не удосужившись предварительно объяснить бедному семилетке, что такое перспектива), лошадей, немыслимые здания и так далее; после этих заданий я чувствовал себя по-дурацки, особенно когда он говорил слащаво-сокрушенным тоном: «Посмотри, как Даша замечательно рисует! Мишенька, неужели ты не можешь так же?» Я утешал себя тем, что Даша никогда не сможет так играть на скрипке (что, кстати, впоследствии оказалось правдой; музыку она бросила после девятого класса).

В целом мне все-таки нравилась школа, но в то же время было жаль ждущих меня дома книг, на которые теперь почти не хватало времени, привычной домашней тишины, созерцания альбомов с классической живописью, обедов с папой (пару лет после того, как меня взяли в семью, он не работал).

В выходной мы все-таки успевали, как раньше, смотреть вместе фильмы; я уютно устраивался между родителями, словно в маленькой норке, и почти мурчал от удовольствия, когда то он, то она легонько целовали меня в затылок. И сейчас, когда я, бывает, чем-то занят в своей комнате (например, рисую за столом в свободную ми-

нуту), а мама приходит и едва ощутимо целует меня в затылок, я вспоминаю теплые, чудесные моменты детства; какими юными родители были тогда, как трогательно, с душой нараспашку любили друг друга, как я забывал, что на самом деле им не сын, потому что всегда был средоточием этой любви... Как быстротечно все и преходяще, неотвратно безвозвратно; спроси кто моих родителей, я уверен, они бы сказали, что хотели бы сохранить свою юность, как я хотел бы сохранить детство и вечно оставаться маленьким мышонком, как меня называла мама, в своей уютной норке...

Серебристый голос

Больше всего я любил петь в школьном хоре. Мой серебристый, чистый и звонкий голос остался на записях (их делали родители) с нескольких концертов, где я исполнял сольные партии. Вся наша жизнь — сплошное обречение на потери, заканчивающееся потерей самой жизни (по крайней мере, здесь, на земле). Мне жаль и этого голоса, и беззаботности, которая присуща детству (хотя у меня она была выражена в меньшей степени из-за страха потерять родителей; мне даже снились кошмары о сиротстве и детских домах), и постоянного ожидания чуда, и вечного оптимизма, надежды на лучшее (у взрослых она обычно сменяется уверенностью, что будет только хуже).

У нас было два хоровика: маленькая забавная учительница, которую все боялись, потому что она имела свойство кричать на учеников за малейшую провинность (позже, в консерватории, курс истории искусств у меня вела педагог с очень похожей внешностью, и они так перемешались в моей голове, что мне до сих пор трудно отделить одну от другой, чтобы восстановить точный образ каждой из них), и преподаватель лет тридцати, очень серьезный, холодный и равнодушный, с бородой и каким-то стеклянным взглядом (совершенно непохожий на моего юного папу с пушком на щеках, от которого он регулярно избавлялся, и открытой детской улыбкой, хотя они были ровесники). Это было удивительное сочетание: кричащая на очередную жертву седая крошка и застывший рядом человек, заторможенным голосом объясняющий другому ученику особенности исполнения того или иного музыкального отрывка. В такие минуты Наташа, стоявшая рядом, что-то заговорщицки шептала мне на ухо до тех пор, пока не ловила на себе взгляд учительницы, предвещающий очередную бурю. Но с Наташей все обычно обходилось красноречивым молчанием: она умела нравиться и была любимицей почти всех учителей. Голосок у нее был обычный, не особенно сильный и не выделяющийся среди других, но иногда ее ставили солировать, опять же, из-за необъяснимой симпатии и приязни, которую она вызывала. Она была довольно хорошенькой, с толстой косой вьющихся на кончиках темных волос, с лукавыми карими глазами и тоненьким смехом, который она позволяла себе на переменках (и который меня немного раздражал, но нравился той учительнице; она считала, что барышням не пристало гоготать на весь коридор). Наташа изредка бывала у нас в гостях; я не слишком любил (не люблю и сейчас), когда посторонние люди нарушали нашу с родителями идиллию втроем. У нас дома она вела себя еще более образцово, чем в школе, говорила о книгах (мы оба рано научились читать, в четыре года), которые брала из родительской библиотеки и старательно поглощала (среди упомянутых писателей были, например, Стендаль и даже Ремарк) — и в которых, как я думаю теперь, мало что понимала в силу возраста (и в силу того, что Бог уберег ее детство от ужасов этого мира). Мне кажется, она постоянно старалась впечатлить папу, даже когда ей было всего семь-восемь лет, и здесь не было ничего дурного; она не имела представления ни о какой любви, кроме возвышенной, а также восхищения, доведенного до абсолюта. Похожие чувства я испытывал к литературным персонажам, к изображенным на полотнах великих мастеров; думаю, и для Наташи мой папа

был кем-то вроде ожившей скульптуры гениального художника (в определенной степени так и было, но вряд ли Наташа тогда задумывалась о Творце всего сущего). Надо сказать, папу все это действо несколько утомляло; он относился к Наташе с благосклонной усталостью (ведь она все-таки была моим другом). Несмотря на его огромную любовь ко мне, он равнодушно относился к детям в целом, а надоедливых, громких и капризных вовсе старался избегать (по этой причине он не смог работать в музыкальной школе).

Что касается мамы, Наташа общалась с ней мало (и даже как-то сказала мне, что она не подходит папе из-за «скромной» внешности; по этой причине я месяц с Наташей не разговаривал, после чего она извинилась). Ее мама (я познакомился с ней на собрании) была очень яркой и видной красавицей, прекрасно осознающей собственную привлекательность; она принадлежала к тому типу особ женского пола, присутствие и внимание которых напрягало папу не меньше капризных детей.

На переменках после хора мы часто играли в игру, название которой мне никак не удастся вспомнить; смысл ее был в том, чтобы успеть прикоснуться к стене или подоконнику раньше, чем тебя догонит вода, а иначе ты проигрывал и выбывал (стоять на одном месте, прижавшись к стене, было нельзя, тогда игры не состоялось бы). Водой обычно никто быть не хотел, это было неинтересно, и поэтому мы кидали жребий. Помню, некоторым родители запрещали играть в подобные игры («Ты обязательно упадешь и разобьешь себе лицо!»), но мои только смеялись, когда я в красках пересказывал, как дразнил воду: «Смотри, я отнял руку от стены! Ой, уже передумал». Такие развлечения были Наташиной слабостью (хотя, конечно, вести себя подобным образом тоже «не пристало приличной барышне», здравствуйте, Марьвасильна).

На скучные уроки вроде окружающего мира я таскал с собой книги и, не стесняясь, открывал их прямо во время занятий, но мне постоянно делали замечания; это не возбранялось только на уроке чтения (который не был скучным), даже наоборот, потому что я успел опередить программу (педагог наша, правда, старалась всячески заинтересовать учащихся и выбирала самое, на ее взгляд, интересное; например, в третьем классе мы читали «Песочного человека», освоить которого я еще не успел и который мне безмерно понравился, хотя многие мои одноклассники почему-то напугались; мое удивление было почти безграничным, когда я узнал, что ни один из них не слышал о балете «Коппелия», в основу которого легла гофмановская новелла; родители показали мне его лет в пять).

Как раз после третьего класса я почти со скандалом сменил педагога по скрипке; папа сказал своим обычным тихим и мягким тоном (ему было вообще несвойственно повышать голос), что его не устраивает сложившаяся манера преподавания; в ответ на его слова из уст педагога полились нелестные отзывы обо мне, звучащие при этом вкрадчиво и слащаво, из которых выходило, что я сущий черт, каждое занятие испытывающий его ангельское терпение; выслушивать такие наветы папа не собирался, а потому схватил меня за руку и почти выволок за дверь, с бледным лицом и подрагивающими губами... Через пару недель меня со скрипом перевели, и еще какое-то время я ловил на себе презрительно-уничижительные взгляды (этот случай потом чуть не вышел мне боком, когда на переводном экзамене мой бывший наставник решил мне отомстить).

Ангелята

К пятому классу у меня прилично просело зрение (мне даже немного досталось от родителей, которые считали, что к этому привело чтение допоздна с фонариком под одеялом; конечно, им ни разу не удалось меня застукать, но они знали меня слиш-

ком хорошо). Как бы в отместку на день рождения мне подарили оправу (правда, очень дорогую и красивую); из «маленького мышонка» я превратился в «ученую букашку», но это меня только умиляло: я с раннего детства обожал прозвища. У папы тоже было плохое зрение; обычно он носил линзы, а очки изредка надевал дома, сразу становясь взрослее и строже, но одновременно забавнее. Наташа заявила, что очки мне очень идут; в общем, я остался доволен.

В ноябре должен был состояться конкурс, в котором я принимал участие. Для младшей группы он был небольшой, в один тур; я должен был играть эту, кантиленную и виртуозную пьесы. Аккомпанировала мне мама. Для конкурса я за лето специально выучил «Каденцию» Венявского (это было мое желание и папы, педагог не протестовал) и «Цыганские напевы» Сарасате (их мне разрешили играть вместо двух больших пьес).

Я очень ждал этого события; до этого я уже успел поучаствовать в двух небольших конкурсах (и даже получить лауреатство), но впервые должен был выйти с такой серьезной для того возраста программой, к тому же сделанной фактически за пару месяцев (в июне я отдыхал, а потом занимался почти ежедневно, но не более трех часов).

Позже выяснилось, что один из моих одноклассников, Марк, тоже подал заявку (об этом я узнал, когда вывесили список участников). Он учился у моего бывшего педагога. Не могу сказать, что мы с Марком враждовали, но толком не общались; у него в классе было двое друзей, Саша и Дима, которые больше смахивали на свиту. Кажется, ему нравилась Наташа; он смотрел на нее иногда на уроках, но не подходил. Меня это не волновало. Его программа не была мне известна, я старался об этом не думать; нужно было сделать все, что от меня зависело, и не беспокоиться о результате. Я все равно не мог ни на что появляться, к тому же одним из членов жюри значился профессор, с которым мой бывший наставник был дружен. Я был почти готов к тому, что меня отодвинут на второе место (или дальше), но участвовать стоило не только ради лауреатства, а для того, чтобы еще раз попробовать себя на сцене. Я посещал школу в обычном порядке (в то время как Марк забросил учебу на два месяца; я не считал такой подход правильным для себя, ведь на конкурсе легко было пролететь, а встраиваться потом в учебный процесс после перерыва — себе дороже).

Чем ближе была знаменательная дата, тем сильнее я переживал (не из-за Марка, из-за того, что мне придется выдержать на сцене около пятнадцати минут двойных нот, сомнительных пассажей, глиссандо и безудержной техники). Когда я играл дома или на уроке, у меня было ощущение, что я могу сыграть требуемое почти безупречно, даже если меня разбудят в три часа ночи и заставят проделать это прямо в постели. Но едва стоило представить сцену, публику и целый ряд «нашего уважаемого жюри» (впрочем, как потом оказалось, их было всего четверо), у меня слабели руки и темнело в глазах. Помню, как мы с мамой стояли перед дверью в зал, она поправляла мне волосы и говорила: «Давай, ангеленок мой, ты справишься, просто делай все, чему мы тебя учили». (Справедливости ради добавлю, что меня действительно учили родители, а педагог благосклонно внимал результату их деятельности, зато хорошо ко мне относился, в отличие от своего предшественника.) Она крепко обняла меня: «Помни, что рядом мама». Почему-то в ту секунду мне показалось, что она имеет в виду не только (и не столько) себя, но ту, которой давно не было в этом мире...

Сыграл я прилично (как выявила запись, даже хорошо). Во время игры у меня вспотели руки, из-за этого пара пассажей в каприсе смазались, а децима прозвучала немного неестественно, но в целом я был доволен (в пьесе, по ходу быстрой части, я существовал от такта к такту, молясь и успокаивая себя тем, что осталось потерпеть самую

малость; мысли хаотично разбегались). После меня хвалили и радовались, что все получилось (я, как обычно, считал, что могу лучше); результаты должны были сообщить тем же вечером. Было уже восемь; я сидел с книжкой в своей комнате, у родителей негромко работал телевизор (я нервничал и хотел побыть один). Потом выбрался из постели, подошел к их двери и прислушался, отчего-то боясь, что они говорят обо мне. Они действительно обсуждали мое выступление и, судя по тону их голосов, были очень рады тому, как прошел день. Потом я услышал не очень разборчивые слова любви, адресованные друг другу, и у меня начали гореть уши (я до сих пор, наверное, в силу отстраненности и неопытности нахожу подобные излияния крайне неловкими, хотя Наташа, когда мы выросли и поступили в консерваторию, пыталась переключиться на меня и привить мне мысль, что я в этом очень нуждаюсь; то ли я сейчас одиночка по натуре, то ли предчувствую заранее, что любовь подобно той, что связывает моих родителей, встречается раз в столетие, но ее действия меня не впечатлили). Дверь была приоткрыта, и я незаметно заглянул в комнату. Они расположились на диване; он лежал головой у нее на коленях с закрытыми глазами, а она перебирала в пальцах его пряди, как драгоценную пряжу. Это было очень красиво. Я подумал, что до моего появления в этом доме все их вечера были такими — и что сейчас им тоже бывает необходимо побыть наедине со своей любовью (а потом вдруг удивился мысли, что они женаты уже почти четырнадцать лет, но так и не привыкли друг к другу в том смысле, когда присутствие другого становится обыденностью и даже навеивает скуку).

Потом раздался звонок, и я тихонько скрылся у себя. Звонил педагог, чтобы сообщить прекрасную новость: мне дали первое место. Помню, когда родители передали мне его слова, я сначала не мог ничего сказать, замерев в оцепенении. Марка я видел на гала-концерте (ему дали третье, а второе кому-то не из нашей школы). Он не поздоровался, но я толком не заметил этого; впрочем, его настроение было объяснимо.

Через пару дней, когда я пришел в школу, все принялись меня поздравлять: Наташа, другие одноклассники и некоторые учителя. Марка поздравляли по остаточному принципу («И тебя тоже»); мне это казалось несправедливым, но ничего нельзя было поделать. Я тоже его поздравил, но он, вероятно, счел это чуть ли не насмешкой и затаил на меня обиду (вместе с моим бывшим наставником, который считал, что дали мне первое место только благодаря родителям, а я сам, в отличие от его замечательного Марка, ничего не стою). Это закончилось плачевно, и вспоминать случившееся мне грустно и неприятно (хотя за давностью лет, коих минуло уже где-то десять, все должно было превратиться в дым).

На следующее утро я мирно сидел с книжкой на третьем этаже (так случилось, что меня привезли совсем рано, и коридоры были пусты). Марк появился вместе с Димой и Сашей. Начиналось все почти «невинно»: пара мелких оскорблений в мой адрес, затем нелестный отзыв о моих родителях (услышанный и подхваченный, скорее всего, от его педагога), потом — раскинутые по полу тетради, изорванные учебники и атлас по географии... Позвонить родителям я не успел, потому что телефон у меня тут же выхватили (слава богу, что вообще не разбили). Я всегда был очень худым и не умел драться, а сам Марк хотя и не сильно отличался, зато его друзья могли повалить меня на пол или удерживать на месте с двух сторон.

Каким-то образом, не знаю откуда, Марк узнал, что я приемный (хотя и в семье родного дяди), и начал исторгать шутки (как он считал) о мертвой мамочке, которая глухой ночью обязательно придет за мной с того света (еще одна причина для кошмаров, которые после того случая снова мучили меня какое-то время), а взяли меня из жалости, потому что люди не способны любить чужих детей... У меня начиналась истерика, но их это только веселило и побуждало продолжать. В конце концов один

из них (кажется, Дима) выхватил ножницы и подрезал мне одну прядь. Потом следующую. Я не сразу понял, что страшный крик, раздавшийся в ту секунду, исходит из моих уст. Его услышала с другого этажа какая-то учительница, прибежала, стала обнимать меня; я весь трясся и, кажется, плакал.

Через час в кабинете директора папа почти кричал (что было не в его характере, но тогда он был, очевидно, на грани), что в эту школу, помимо нормальных детей, по всей вероятности, берут малолетних уродов, у которых от ребенка только невинное личико, и эти сущности, как он их назвал, делают жизнь других невыносимой. Помню, я тогда даже испугался, что исключат в итоге меня. Не знаю, что сказали Марку и его соратникам, но он ушел в академический отпуск, а двух других оставили на второй год из-за неуспеваемости по общим предметам (после девятого класса их исключили, а Марк перешел в училище).

В ту ночь я спал с родителями (они убрали ночной столик и сдвинули кровати, а посередине проложили одеяло). Мама аккуратно подровняла мне волосы. Я тихо лежал между ними — и вдруг с дрожащими губами стал рассказывать о том, что говорили мне одноклассники. Папа молча обнял меня, а мама прошептала, что мы с ним — самые любимые ее ангелята на свете. Кажется, у них обоих в глазах стояли слезы. Я умиротворенно заснул, убаюканный их присутствием, но где-то в уголке моей души снова возник страх однажды потерять их навсегда.

Осколки памяти

После случая с Марком жизнь моя потекла относительно спокойно. Папа теперь старался привозить меня ровно к началу уроков, чтобы ни у кого не осталось шанса устроить мне темную в пустом коридоре. Впрочем, желающих больше не находилось. Надо сказать, со мной с самого начала дружила только Наташа, остальные общались миролюбиво и дружелюбно, разговаривали на переменках, но не сближались. Я производил впечатление белой вороны (подозреваю, это изначально привлекло Наташу во мне и в моем папе; она довольно холодно относилась, как она сама это позже называла, ко «всякой посредственности»). С одной стороны, иногда я жалел, что не могу быть в центре мирка нашего класса (и не представляю для большинства особого интереса, хотя потом я убедился, что это было не совсем правдой и за моей спиной меня обсуждали в довольно язвительной манере); с другой, несмотря на ощущение одиночества и даже неприкаянности, которое посещало меня в те дни, когда Наташа вдруг отсутствовала на занятиях (и моим соседом по парте был пустой стул), я начинал думать о родителях, о книгах, обо всем, что составляло мое маленькое бытие, и эти мысли скрашивали осознание, что я мало кому здесь нужен. Я понимал, что, несмотря на охватывающие меня в отдельные минуты порывы сблизиться с кем-то из одноклассников, попытки завести друзей помимо Наташи обречены не только по той причине, что остальные соблюдали некую дистанцию по отношению ко мне, но и потому, что я сам вряд ли бы смог разделить их увлечения и говорить на одном с ними языке; общее дело (музыка) и нахождение в одной школе играли маленькую роль и не помогли бы мне в моих чаяниях обрести больше дорогих сердцу людей.

Папа рассказывал, что чувствовал себя чужаком в собственной семье, хотя его очень любили (как любят не очень понятное душе и разуму, но все-таки родное существо). Он был не похож на своих родителей в той же мере, как я похож на него (и на маму Марину, невзирая на отсутствие между нами кровного родства). До встречи с ней (они сблизились на третьем курсе консерватории и почти сразу поженились) он чувствовал себя одиноко и мечтал о маленькой уютной семье с кем-то близким по духу.

Помню, однажды (я продолжал учиться в пятом классе) родители уехали на несколько дней в Москву; меня они взять с собой не могли, каждый день у них был расписан (планировались репетиции и концерты). На самом деле я порадовался, что они смогут побыть вдвоем, хотя уже через несколько часов начал скучать по их присутствию (я люблю и сейчас, сидя у себя в комнате, слышать, как они тихонько переговариваются на кухне или в гостиной; это дает ощущение спокойствия и уюта). Меня тогда передали бабушке (со стороны мамы Марины), которая в первой половине дня работала, а во второй занималась мной: сначала слушала, как я разучиваю новую пьесу (она не была музыкантом, но я всегда просил ее послушать, когда бывал здесь, потому что мне нравилось играть ей), проверяла домашние задания по общим предметам, а потом мы обычно разговаривали о том, что я читал в последнее время, или смотрели сериалы вроде «Пуаро». Перед сном я решил перечитать «Карлсона», которого обожал лет в семь (и которого, видимо, оставил здесь, когда дочитывал, а теперь вдруг обнаружил на полках). У меня было чудесное издание — большая книга с иллюстрациями в стиле советского мультфильма (который мне тоже очень нравился). И вот я сидел в одиннадцать часов вечера у ночника, распространявшего приятный золотистый свет, и вчитывался в главу про Филле и Рулле (кажется, ту самую, где Карлсон свивал себе «уютное гнездышко» из одеял). По спине у меня бежали мурашки, тьма за окном навевала чувство, что Филле и Рулле сейчас выйдут прямиком из шифоньера по правой стене; в квартире было очень тихо (бабушка ложилась рано). Телефон еле слышно звякнул сообщением от мамы: «Не спишь, Малыш? (Я улыбнулся этой рифме.) Иннокентьюшка мне подсказывает, чтобы ты не забыл завтра поучить этюд на фортепиано. Мы тебя очень любим».

На самом деле я мог и не запомнить его среди череды многих, то нежных и ласковых, то просящих меня что-то сделать и даже немного недовольных, но специально нашел в памяти старого телефона (он с некоторыми перебоями работает до сих пор). Наверное, я тогда невольно закатил глаза, подумав, что они, находясь в другом городе, в перерывах между ласковым шепотом на ушко (подобно той сцене, которую я наблюдал в день конкурса) еще и успевают обсудить мои занятия, но потом это показалось мне трогательным.

Про этюд я тогда и правда забыл, а ведь должен был через пару недель играть его и вальс Шопена на концерте отделения общего фортепиано. Этим со мной занималась мама; папа обычно, если был в это время дома, с большим вниманием слушал наши умильные препирательства и мои довольно ловкие пассажи — или заходил в комнату, чтобы похвалить и рассеянно поцеловать меня в затылок, а потом уносился разбираться с домашними делами, писать очередную сказочку про менестрелей и так далее.

Я очень люблю все мелкие подробности, которые, будучи собраны вместе, составляли тогда основу нашего совместного бытия; так слово, из которого убрали одну букву, распадается, теряет свое значение (или, наоборот, приобретает другое). Записывая отрывки из нашей маленькой жизни (в первую очередь для нас самих, пока память еще вмещает в себя осколки прекрасного прошлого), я отказываюсь верить в то, что они существуют только в наших мыслях, в памяти, в воображении. Как славно было бы знать, что в одном из параллельных миров я читаю в эту самую минуту «Карлсона» в бабушкиной квартире, а в другом мне все еще семь, и там вечно длится мое последнее лето перед школой...